

Счастье

Автор:

Наталья Ключарёва

Счастье

Наталья Львовна Ключарёва

Что почитать?

Что будет, если патологически одинокий мужчина влюбляется в творческую женщину, вся жизнь которой – сплошной полет, фейерверк и волшебство превращений? Кто кого изменит и изменит ли вообще? Роман Натальи Ключаревой весь создан из звенящих колокольчиков надежды и тихих шорохов разочарований, из женских капризов и мужских сомнений, – эта мелодичная проза идет словно от самого сердца и говорит о главном самыми простыми словами...

Наталья Ключарёва

Счастье

© Ключарева Н. Л., текст, 2016

© Издание, оформление. ООО Группа Компаний «РИПОЛ классик», 2016

* * *

Глава первая

Как он стал Алешей

Сначала он все ждал, что настоящая жизнь вот-вот начнется. Вот он вырастет, вот пойдет в школу, вот закончит школу, вот поцелуется с девушкой, вот устроится на работу....

Потом он вдруг понял, что все рубежи пройдены, ждать, кроме пенсии, уже нечего, а жизнь по-прежнему походит на невнятное топтание в прихожей.

По привычке он продолжал надеяться на какое-то более осмысленное и счастливое существование, в которое когда-нибудь войдет, как в светлую комнату, полную близких людей, войдет и скажет: «Простите, что так долго», а они засмеются, обнимут, хлопнут по плечу и нальют штрафную...

Однако предвкушение праздника, питавшее его с детства, уже истончилось, выветрилось и совсем не прикрывало неприятную пустоту.

«Это моя жизнь, и я ее живу», – повторял он, как мантру, мяся нечищеными ботинками снежную кашу или жуя позавчерашнюю гречку, которую ленился разогреть.

Но живее не становился.

«Как сделать, чтобы все стало настоящим?» – спрашивал он у своего отражения в пыльном окне, за которым стояла грязнофиолетовая городская ночь.

И перебирал в уме давно известные рецепты: «Тяжелая болезнь, любовь, дети, делать что-то для других, просветление в ашраме, полнолуние на горе Белухе...»

Даже музыка текла мимо, омывая, но не наполняя, как вечно юная река вокруг вечно старого камня.

«У камней тоже есть душа. И мысли. Только очень медленные», – скажет потом девушка, которая уже заворачивает за угол его большого желто-белого дома со статуями в нишах.

Вот она идет, хлюпает мокрый снег, вязанные сапоги промокли, а из кармана рюкзака выглядывает синий медведь с глазами-бусинками.

Она идет в свое место силы: туда, где продают ленты, пуговицы, бубенцы и прочие сокровища эльфов. Спешит утешить себя пакетиком золотого бисера, подбодрить мотком ярко-желтой пряжи, подкормить свою продрогшую, напуганную душу простым и понятным зрелищем – разноцветным прилавком в магазине рукоделия...

Потому что в ее доме опять ругань, от которой не укрыться даже в своей комнате, даже под подушкой, даже в наушниках...

И бедная Санька с мальчишками на улице второй день. Ну, не совсем на улице, где-то у знакомых, но это все равно страшно, тоскливо и никак не помочь. Домой она не хочет ни в какую, да и нелепо называть домом место, где леденеешь от звука поворачивающегося ключа, потому что вот сейчас, сейчас оно начнется снова – то, от чего не спрятаться даже под подушкой, даже на улице с мокрым снегом под ногами, хотя эта улица и находится в часе трамвайной тряски от их окраины, за которой кончается город и начинается лес.

Да, лес! Самый настоящий, сосновый. Ее окна выходят прямо в лес, а «их» – на соседнюю новостройку.

«Поэтому мы такие разные», – думает она иногда.

«Я чувствую родство со всеми бездомными животными, со всеми незнакомыми людьми, особенно после первой стопки, со всеми соснами в твоём лесу, – говорит Санька, – и только к этим двум не испытываю ничего, кроме желания быть от них как можно дальше».

Но лес, лес примиряет ее со всем, делает дом все-таки домом. К лесу она возвращается, с лесом разговаривает, по лесу летает во сне. Лесу показывает своих мишек, а мишкам, едва у них появляются глаза, – лес. Она и шьет-то их перед лицом леса: сидя на широком подоконнике, отгородившись от всех плотными шторами, и часто советуется с лесом: так лучше? или так?

Но бывают дни слишком тяжелые, душа чернеет и черствеет, опускается на дно. И становится стыдно показываться лесу на глаза.

«Сосны растут, стараются изо всех сил, у них такие прямые оранжевые стволы, такие веселые макушки-верхушки, даже в плохую погоду. А я не могу им обрадоваться!»

Тогда она едет в центр города, везет свою тоску в трамвае, тащит по бульвару под крики ворон, кормит коржиком у хлебного киоска, гонит прочь от себя, а потом снова прижимает к сердцу...

Вот и улица, где, внушительный и желтый, стоит дом с белой женщиной в нише: облупившееся советское ню, статная спортсменка с суровым ликом. Вот ничем, кроме пыли, не примечательное окно. Но форточка открыта – и слышно музыку.

Он так и не смог вспомнить, что тогда звучало. Включал ей потом и «Бранденбургский концерт», и «Адажио» Альбиони, и Чайковского... Она слушала, иногда снова плакала, но потом качала головой: нет, не то.

«То было такое печальное, огромное и светлое, будто ангел укрыл меня крыльями, и жалеет, и защищает, но ничего не требует, никуда не зовет и не очень даже понимает меня, просто держит в свете и верит, что это поможет. И это помогает. Помогло. Тогда».

А он уже натянул ботинки, когда вспомнил, что не выключил музыку. Протопал в комнату не разуваясь, все равно грязища, но вдруг – будто зацепился за невидимый крючок – остановился у окна, решил дослушать. Стало как-то неловко просто подойти и ткнуть кнопку, словно оборвать на полуслове важный разговор, в смысл которого нет сил вникать.

Из форточки тянуло оттепелью, тающим снегом, мокрыми ветками, воздухом, согревшимся до нуля. Его вдруг окатила волна забытого детского ощущения, когда все в мире кажется правильным и значительным: и галочки крики, и шелест шин по слякоти – каждый случайный звук словно стоит на своем месте и выполняет свою, совсем не случайную роль, о которой ты вот-вот догадаешься...

Стоит только выбежать на улицу, вдохнуть полной грудью – и взлететь навстречу невероятному прекрасному далеку.

«Но это детское предвкушение смысла – обман, – думал он, слушая медленные, печальные шаги клавиш. – За ним лишь трагическое подростковое открытие, что все на самом деле не имеет никакого смысла. А следом – спасительная (или губительная) скорлупа прожитых лет, внутри которой тебя уже ничего не касается – ни смысл, ни его отсутствие, ни горечь обманутых надежд... Только иногда жалко детей. Эти их глаза. Доверчивые, ожидающие от мира всего хорошего... Ты-то уже вырос, ты знаешь: ничего они не дождутся, погаснут, перестанут смотреть. Даже в самой благополучной судьбе, не говоря о всяких ужасах... Хорошо, что у меня никого нет. Если б я знал такое про собственного ребенка, как бы я жил, что делал, как встречал бы этот взгляд?

Надо наконец выключить музыку. Что она без толку меня тревожит? К чему эта бесполезная, наизусть выученная грусть?»

И, уже отворачиваясь, он краем глаза увидел, что под его окном, почти вплотную к желтой стене, стоит кто-то в клетчатом пальто и смешном вязаном колпачке с помпоном.

«Школьница курит. Смешная, милая девочка. В художку, наверное, ходит. Или в группе поет. Пой, бедная, рисуй, подольше не сдавайся...» У него вдруг сдавило горло.

Он незаметно высунулся в окно и увидел, что она вовсе не курит, а плачет, и глаза у нее как раз такие, в которые стыдно смотреть, – распахнутые, полные света, но уже недетские: слишком печальные.

И вдруг он как-то разом и целиком понял ее всю. И сиюминутное: что она остановилась послушать музыку, звучащую из его окна, что она ужасно расстроена и промочила ноги, что смешной колпачок связала себе сама, чтобы хоть чуточку уравновесить какую-то свою постоянную тоску...

И одновременно с этим он уловил невыразимое словами звучание ее души. Ее одиночество и непохожесть. Ее хрупкость и – где-то в глубине, под слоями беспомощности и страха, – силу и стойкость.

И еще он почувствовал, что будущее живо, что оно не просто случается или нет, но каким-то образом зависит от него самого. И что можно еще успеть. Во всех смыслах.

Он глянул на таймер: оставалось тридцать секунд звучания. Метнулся к двери и выскочил в подъезд.

– Я так испугалась, – смеясь, говорила она потом. – Ты налетел на меня, такой запыхавшийся, весь взъерошенный, даже борода. И, ни слова не говоря, схватил за руку. Нет, я сразу увидела, что ты – нестрашный, но я думала – что-то страшное с тобой случилось, вот сейчас ты отдышишься и станешь звать на помощь. А ты позвал пить чай и сушить сапожки!

– Нет, ты права, со мной происходило страшное, причем уже много лет, изо дня в день. И я именно звал на помощь. И ты на помощь пришла.

– Это ангелы...

– Да, с тобой в мою жизнь вошли ангелы, о которых ты всегда говорила, и медведи, которых ты безостановочно шила, даже в трамвае или кафе. Ангелы и медведи – немыслимо щедрый дар для хронически одинокого человека. И эти ангелы (или эти медведи) за тридцать секунд, что я бежал по двору, доходчиво объяснили мне, что я тону и что ты – та самая соломинка. Вот я за тебя и ухватился!

– И я сразу почувствовала себя защищенной. Будто я всю жизнь падала – и вдруг меня поймали и поставили на твердую землю.

И она, боявшаяся всего на свете, обмиравшая, случайно встретив чей-то взгляд, робевшая продавщиц и кондукторш, спокойно пошла в дом к человеку, которого даже не знала, как зовут.

Они еще были безымянны друг для друга, а это имя уже слетело с ее языка и с тех пор так и вертелось между ними, выскакивая всюду, как Петрушка.

«Какие высокие окна! Санька была бы в восторге, ей так нужен свет, для рисунков». «Санька обожает кофе, она его варит даже на костре, когда мы в лесу гуляем». «Это старинное? Вот бы Санька...»

- Санька - это подруга? - не выдержал он.

- Сестра!

- Отлично, с сестрой я уже познакомился... Теперь хотелось бы...

- Правда? Вы знакомы с Санькой? Вы тоже художник?

- К сожалению, ни то, ни другое... Давай-ка выпьем чаю на брудершафт, а то, когда мне говорят «вы», я чувствую себя пенсионером...

- Это имбирь? Санька...

- ...его обожает?!

- Простите, я вам, наверное, уже надоела со своей Санькой! Но она очень хорошая и...

- Не сомневаюсь! Но у меня в гостях ты, а не она. И я буду рад узнать что-нибудь о тебе. Например, имя...

- Мое?

- Твое, деточка, твое!

- Санька...

- Неужели?! Не может быть!

- Нет, я просто хотела сказать, что Санька всегда называет меня по-разному, у нее вообще страсть к именованию, и ей трудно остановиться. Когда мы были маленькие, она, например, давала имена нашим чашкам и ложкам, зубным

щеткам, колготкам... Причем сегодня – одни, завтра – другие. А перед сном она брала меня за руки и рассказывала, как зовут каждый пальчик...

– Это ужасно трогательно... Но все-таки как тебя зовут? Санька – всегда по-разному, я понял, но родители-то как тебя называли?

– Да никак! Никак они нас не называли!..

– Никак?! Не может такого быть! Но звали-то как?

– Как придется. Чаще всего «эй, ты» и «пошла отсюда»...

* * *

Саньку называли Санькой тоже не «они», а пожилой инвалид Полторы Ноги, их сосед по коммуналке. Долгое время он считал, что это громкое, везде лезущее, отовсюду падающее существо – мальчишка, тем более что у Саньки никак не отрастали волосы. По чистой случайности имя оказалось универсальным, и Санька осталась Санькой, даже когда ее девчачья природа, к большому разочарованию инвалида, убежденного женоненавистника, стала наконец очевидной.

Через два года у Саньки появилась сестра, и щедрая Санька каждый день дарила девочке новое имя, выживая из потока телевизионной речи самые звучные слова, казавшиеся ей именами фей и принцесс: Индира Ганди, Маргарет Тэтчер, Перестройка, Орбитальная Станция, Долина Реки Иордан и Сектор Газа...

Часто Санька пририфмовывала младшую к себе: «Санька и Танька, Санька и Ганька, Санька и Тикаликалянька...»

Едва сестра научилась ходить, Санька потащила ее в свой садик, потому что «там – еда».

Воспитательницы уже не удивились отсутствию свидетельства о рождении. Они отудивлялись свое, когда Полторы Ноги привел к ним Саньку – без родителей,

без документов и без нижнего белья.

Правда, эту ненормальную семью тут и так знали: в садике работало несколько теток из их подъезда, которые регулярно подкармливали безнадзорных сестер. И судьба девочек решилась в обход всяких правил.

Свидетельства о рождении сделали задним числом через чью-то родственницу, работавшую в загсе, принесли оставшиеся от детей-внуков одежды, а опеку беспокоить не стали, рассудив, что в родном доме, каким бы он ни был, лучше, чем в казенном, «откуда выходят готовые уголовники».

При записи в садик встал вопрос об имени младшей девочки. Не моргнув глазом, Санька срифмовала: «Санька и Данька».

«Дарья, что ли? – переспросила заведующая. – Или Дамира?»

Но Санька уже нырнула под стол за ускользавшим ластиком. И заведующая, поколебавшись, написала «Дарья», решив, что Дамира – чересчур экзотично, хотя Санька с ее тягой к прекрасному выбрала бы именно Дамиру, не случись там невиданного белого ластика со слоном.

Потом она продолжала называть сестру самыми разными именами. В садике Санька встретилась со сказками, и младшая становилась то Элизой, то Василисой, то Гердой...

А имя, случайно попавшее в документы, растворилось в недрах бумажной вселенной и так редко давало о себе знать, что сестры каждый раз удивлялись, его услышав.

Простой вопрос «Как тебя зовут?» всегда ставил ее в тупик. В детстве рядом была Санька, которая с ответом не затруднялась. Но потом ей пришлось учиться самой называть себя. Через силу произнося «Дарья», она неизбежно вспоминала, что ей не дали даже имени, и мир сразу схлопывался и гас.

– Деточка, прости! Ну, не плачь... Хотя как тут не плакать! Я и сам сейчас зареву. А ведь всего лишь хотел узнать имя! Давай лучше сыграем в игру.

– В какую?

– В угадайку. Будешь угадывать, как меня зовут.

– Я?

– Да! Посмотри внимательно. Только не торопись! Угадаешь, дам конфетку!

Он порылся в буфете и достал старый самолетный леденец. Она послушно принялась рассматривать его, внимательно, с полным погружением, и почему-то ни ему, ни ей не было неудобно от этой пристальности.

Все было правильно, все было как надо. Это ощущение, возникшее за минуту до ее появления, не покидало его, только усиливалось, наполняя непривычной уверенностью.

Он всегда изнурительно сомневался в самых простых вопросах. И незаметно вообще перестал двигаться, провалился мимо жизни. Но когда она остановилась и заплакала у него под окнами, он вдруг начал понимать, что от него требуется. Без усилий, без мучительных раздумий – будто кто-то сжалился над ним и стал давать четкие указания. Она потом, разумеется, сказала, что это он стал слышать подсказки ангелов.

Иногда правильными оказывались довольно странные вещи.

– Может, Алеша? – робко предположила она.

– Молодец! Держи конфетку!

Конечно, она не угадала. Но в тот момент для исправления чудовищной неправильности бытия ему показалось необходимым, чтобы эта девочка, которую никак не звали, дала имя ему. Чтобы в пустыне безымянности и в вихре случайных имен у нее появилась хоть какая-то точка опоры: имя, которым она наречет сама.

И он стал Алешей.

– Правда-правда... Твое любимое имя? Ну, рад, что угодил... Давай кипяточку добавлю, все остыло...

Глава вторая

Чудо

Они проговорили все утро. Это было странно. С одной стороны, легко, будто сто лет знакомы. С другой – он то и дело натыкался в ней на огромные скопления боли, куда она тут же проваливалась. И исчезала.

Иногда за самым простым вопросом вроде вопроса об имени распаивалась пропасть. И он быстро понял, что с ней можно говорить о чем угодно, кроме нее самой. И перестал расспрашивать.

Картину ее жизни он складывал потом из случайных обмолвок, всегда прерывавшихся на полуслове, о многом просто догадывался, а о чем-то даже не решался думать.

Знакомство с Санькой, которое неминуемо состоялось в тот же день, мало что прояснило. Санька защищалась от пережитого яростными фантазиями. Она охотно рассказывала о детстве, и слушать ее было одно удовольствие, но в этих невероятных историях не было ни капли правды.

– Тебе бы книжки писать, – говорил он ей, отсмеявшись.

– Да ну, – отмахивалась Санька, – я запятые ставлю неправильно.

– А ты вообще без них – сейчас модно.

– Правда? Я однажды в диктанте наставила эти проклятые запятые после каждого слова. Думала, какие-то попадут на правильное место – и от меня отстанут. Ну и прославилась. Мой диктант потом в стенгазете напечатали, а психологичка даже в диссертацию вставила, как пример девиантного поведения!

У Саньки, по ее выражению, было «двое детей и ни одного мужа». Своим сыновьям-погодкам, Петьке и Пашке, она вдохновенно врала про их отцов. Это была бесконечная, смешная, невероятная сказка. Папы совершали кругосветное путешествие на деревянном самокате, взбирались на высокие горы, обмотавшись огромной жвачкой, летали в космос, спрятавшись в запасном скафандре, изобретали таблетки от старости, спасали от голода африканские деревни...

А где были эти папы на самом деле, Санька не говорила никому, даже сестре. Точнее, особенно сестре, которую страстно оберегала от всего плохого.

И он сразу пошел Санькиной дорогой: ничем не огорчать, только радовать, только лелеять и питать эту бедную, замерзшую душу. Не расспрашивать, не тревожить, не бередить.

В первое же утро во время их мучительного и чудесного разговора, напоминавшего танец канатоходца над пропастью, он понял, что есть только две темы, связанные с ней самой, о которых она может говорить безболезненно: ее лес и ее медведи.

– Есть одно бревнышко на краю поляны. За спиной – деревья, впереди – небо и трава. Я там столько мишек сшила! Зимой по нему скучаю. И, едва сойдет снег, иду навестить. Прихожу и слушаю, как журчит поляна, будто горная река. Когда талая вода сольется в овраг, прилетают бабочки и облепляют старую березу: пьют сок из трещин в коре. Если долго сидеть неподвижно, приходят две ящерицы. Иногда они устраиваются прямо у меня на коленях. А летом я люблю лежать рядом, в траве, и глядеть, как пролетают мимо пушинки иван-чая, целыми стаями...

Внутри рассказов о бревнышках и полянках даже тяжелые темы проскальзывали почти незаметно, будто лес давал ей силы касаться больных мест, укрывал, прятал в зеленый сумрак, полный комаров, запахов, паутинок...

– Моя собственная, отдельная жизнь началась, когда я попала в лес. Нашу коммуналку в центре расселили, дали квартиру в самом крайнем доме города. У меня впервые в жизни появилась своя комната, но главное – прямо за окном

начинался лес. И первый этаж! Можно даже не выходить в коридор, чтобы ни с кем не сталкиваться. Раньше меня заслоняла собой Санька. Я сама совсем не умела защищаться. И вдруг оказалось, что от всего я могу спрятаться там. И Санька почувствовала, что теперь есть на кого меня оставить, и сбежала – сначала в общагу, она уже была студенткой, потом в первое замужество. Она давно хотела вырваться, но я не давала...

Шли минуты. Капали за окном капли, кричали галки. Пыхтел чайник. Тикали часы. Два человека сидели на неудобных стульях с гнутыми спинками, говорили, молчали, рассматривали друг друга.

«Да? Неужели?!» – думала она, и ей становилось страшно и весело.

«Нет, не может быть», – думал он и все подливал, подливал ей чай.

– А кусочка хлеба не дадите? – наконец спросила она.

– Нет, милая, у меня ничего нет, я же старый холостяк! Пойдем, я тебя в кафе накормлю, сапожки твои, наверное, высохли.

– Ой, что вы, там дорого!

– Расслабься, на кусочек хлеба нам точно хватит!

Они вышли на улицу, и тусклый свет пасмурного дня показался слишком ярким для глаз, привыкших к полумраку квартиры. Воробьи наполняли тщедушный куст у подъезда, от их гомона сердце сжималось в предчувствии весны. Но до весны было еще очень далеко.

У мусорных баков во дворе стоял дедушка. Он выуживал бутылки, плющил ногой пивные банки, разрывал завязанные пакеты... В общем, являл собой довольно привычную, хотя и печальную картину.

И вдруг ему попалась книжка. Старик опустил на землю сумку, вынул из нагрудного кармана очки и погрузился в чтение, словно сидел в библиотеке, под

лампой с зеленым абажуром.

Она остановилась. И на ее лице появилось беспомощное, паническое выражение – ну сделайте же что-нибудь! – которое он принял (и потом всегда принимал) на свой счет – и шагнул вперед, еще не зная, что скажет. Но ангелы, конечно, были тут как тут со своими подсказками.

– Доброго здоровья!

– Что?

– Хочу у вас книгу купить.

– Что?

– Я собираю редкие книги и, кажется, за этим экземпляром охочусь долгие годы. Можно взглянуть? Свердловск, тысяча девятьсот семьдесят седьмой. Да, именно! Из-за типографической ошибки тираж был пущен под нож. Осталось всего три книги. Две из них находятся в частных коллекциях – в Америке и Нидерландах... Вот это удача! Родная, посмотри, какое чудо – это же тот самый Луи Буссенар семьдесят седьмого года, о котором Илья Фабисович делал доклад на прошлой конференции!

Старик все твердил свое «Что?», а увидев пятитысячную купюру, проворно спрятал книгу за спину:

– Пойду к букинистам, так они, может, десять дадут!

Вдруг она оказалась рядом, обняла деда за плечи и сказала:

– Букинисты о ценности этой книги даже не догадываются. Таких специалистов, как мой муж, в мире единицы.

Старик обмяк, послушно взял деньги, отдал ей книгу и поспешил прочь, бормоча и качая головой.

«Она назвала меня мужем! – ошарашенно подумал новонареченный Алеша. – Да ладно. Я такой же муж, как это – редкая книга».

А вслух сказал:

– Спасибо за помощь! Теперь нам точно хватит только на хлеб! Зато на целый батон!

В магазине Алеша долго перебирал хлебные пакеты, смотрел дату на проволочных колечках и откладывал обратно.

– Можно и вчерашний, – робко предложила она.

– Можно и прошлогодний, если размочить. Но мне нужен с сегодняшним числом. На память.

Наконец он нашел, что искал. И на крыльце супермаркета аккуратно надел ей на палец кольцо из белой проволоки с напечатанной датой их знакомства.

– Разбогатею – сделаю настоящее, – сказал, будто оправдываясь.

– Это и есть самое настоящее... – Она покраснела и спрятала лицо в ладони.

– Ты так заразительно смущаешься, что я сейчас тоже провалюсь сквозь землю. Давай лучше преломим хлеб и пойдем на набережную ловить ветер.

– Чем ловить? – От удивления она смогла снова посмотреть на него.

– Какое счастье, что ты не спрашиваешь «зачем»! А чем? Так чем хочешь – ртом или капюшоном.

– А можно ленты к запястьям привязать!

– Или надеть коньки и подставить ветру зонт, как Циолковский!

Они медленно шли, перебрасываясь легкими фразами, ели каждый свою половину батона, и синий медведь смотрел у нее из рюкзака на крошки белого хлеба – для птиц, – которые она оставляла за собой, как Мальчик-с-Пальчик.

На набережной они встретили замерзшего пони в желтой попоне.

– Жаль, тут нет Петьки с Пашкой, вот было бы им счастье! – Она порылась в карманах и протянула пони кусочек сахара.

– Вы будто знали! – усмехнулась толстая девица-коновод.

– Всегда ношу с собой в надежде встретить лошадь. И вот – пригодился!

«Бывают же такие девочки, – удивился он. – Которые не выходят из дому без куска сахара для лошади...»

А вслух произнес:

– Кажется, я понял, зачем тебе медведь! На случай встречи с ребенком?

Она вдруг опять мучительно покраснела («Потому что ты угадал!») и воскликнула:

– Алеша, вы такой хороший! Можно я вам его подарю? На память?

– Ты что, решила со мной распрощаться? – испугался он, растерянно принимая синего медведя. – Какое еще «на память»? С чего это? Подожди!

Тут она заплакала в три ручья, чем еще больше его напугала, а потом неожиданно повернулась и шагнула к нему. Как в пропасть. Со всей бесповоротной решимостью своего маленького и слабого сердца.

И он, конечно, подхватил ее над этой пропастью, обнял и прижал к себе вместе с синим мишкой – крепко-накрепко, навсегда...

Девушка-коновод мрачно закурила и дернула пони за уздечку:

– Идем, Борька! Тебе такое нельзя! Ты еще маленький!

– Санька, это удивительно! Ты же знаешь, как я всех боюсь, а с ним с первой секунды стало так спокойно, будто я сижу в моем лесу и знаю, что тут меня никто-никто, совсем никтошечки не найдет... Он отдал все деньги бабушке у помойки – и я поняла, что он добрый. И взрослый, и смелый. Ну а потом он угадал про самое важное! Про детей, которым плохо, что это для них я шью медведей... И так испугался, когда я сказала «на память». А ведь я просто не знала, что будет, и думала – вдруг мы больше не увидимся, а он такой хороший, и так хочется, чтобы что-то от меня осталось с ним... А он испугался по-настоящему, и я увидела, что зачем-то, совершенно непонятно зачем, нужна ему. Представляешь?! Это же чудо!

– Пора пришла – она влюбилась. А я уж думала, тебя никто никогда не расколдует, спящая ты моя красавица!

– Ну почему же? Ведь я и Алексея Степановича любила.

– Это не то. Мы его всем классом любили.

– Да! И он, кстати, тоже Алеша! Представляешь! Опять чудо!

– Чудо, чудо, не кричи, мальчишек разбудишь!

Глава третья

Алексей Степанович

Алексею Степановичу, их бедному учителю математики, она подарила своего самого первого медведя, сшитого вкривь и вкось из разных, не подходящих друг другу обрезков, подобранных в кабинете труда. Даже одинаковых пуговиц для

глаз не нашлось: один был желтым, другой – черным.

«Какой кособокенький. Совсем как моя жизнь...» – Алексей Степанович посадил мишку в карман вязанной кофты и больше с ним не расставался.

Его разноцветными лапами он держал указку и мел, носом-бусинкой тыкался в ошибки в тетрадах. С ним, напиваясь, беседовал по-французски в злачных рыгаловках, около которых они всем классом посменно дежурили, чтобы, якобы случайно, встретить его вечером и проводить домой.

Алексей Степанович был идеальной жертвой, сплошным поводом для насмешек. Он входил в кабинет и каждый раз спотыкался о порог, рассыпая тетради, в которых вместо двоек и замечаний красными чернилами писал мудреные стихи или рассуждения о смысле жизни. Его сутулая спина всегда была испачкана мелом, а синяя кофта, которую он носил не снимая, либо надета наизнанку, либо застегнута наперекосяк.

По всем законам подростковой стаи они должны были его затравить. Но этого не случилось. Непостижимым образом, не делая ничего, только тихо спиваясь и вдохновенно объясняя не нужную никому тригонометрию, он вошел в их дикие, неприрученные души, перевернул уже усвоенные представления о мире как месте всеобщей грызни, где либо ты, либо тебя, и научил самому главному – состраданию. «Милости к падшим», как он любил цитировать.

Он входил в класс, спотыкался, и завсегда тай детской комнаты милиции Кокшаров, похожий на стриженого неандертальца, бросался собирать разлетевшиеся по полу тетради. А рыжеволосая оторва Санька тихонько подзывала к себе и привычным материнским жестом поправляла задравшийся воротник синей кофты.

Алексей Степанович смущенно улыбался – и невозможное, невероятно неуместное сияние обрушивалось на их бедные головы. Будто ангел сошел с небес. Или прямо тут, на втором этаже обшарпанной типовой школы, зажглась сверхновая звезда.

– На меня только Пашка так смотрел, когда был совсем маленьким. Петька – нет, тот с самого начала – трудный человек, а Пашка столь оглушительно радовался,

едва я появлялась, сиял навстречу... Но Пашка-то – родной младенец, а тут чужой взрослый...

– Мне кажется, это ангел был. Все же ангелы, когда рождаются. Только потом портятся. А он каким-то чудом уцелел...

– Ага, ангел, у которого трое брошенных детей в разных городах!

– Он же объяснял, помнишь? Хотя совершенно не был обязан оправдываться перед двумя девчонками...

– Ну да, что пытался сбежать от своего недуга, обрывая запутавшиеся связи, начиная с нуля... Но зачем каждый раз надо было замешивать в это ребенка?

– Наверное, он каждый раз надеялся, что ему удалось вырваться. И теперь у него будет нормальная жизнь, как у всех...

– Нет, брошенных детей я никому не прощаю. Даже ему.

– Но сияние-то было!

– Было. Это факт. До костей продирало, страшно вспомнить.

Затравили Алексея Степановича не они. А остальные – завучи, училки, бдительные мамы. Слишком уж он выбивался из рамок. Говорил ученикам «вы», никогда не повышал голос и вообще не пользовался ничем из богатого арсенала подавления, который принято называть «воспитанием».

При этом он не боялся быть другим, не прятал свою вопиющую непохожесть, не заигрывал, не надмевался, не вступал в конфликты, не настаивал на своем. Но дети – «бессердечные, неуправляемые варвары, понимающие только силу», – смотрели ему в рот и чуть ли не молились на этого пьяницу. Что не могло не раздражать заслуженных педагогов, не удостоившихся за весь свой многолетний труд ничего, кроме обидных прозвищ и намазанных клеем стульев.

Тем более Алексей Степанович не стремился слиться с коллективом, но делал это без всякого вызова, искренне не замечая тех вещей, которые всем остальным казались жизненно важными. Он не участвовал в битвах за «часы», саботировал собрания и учебные планы, а зарплату совал в карман брюк, рассеянно скомкав и даже не пересчитывая, словно миллионер.

В пивных, где он проводил все свободное время, Алексей Степанович тоже был чужим. Не матерился, не качал права, стоял себе в углу ко всем спиной и писал многоуровневые формулы на мятых салфетках. К тому же всегда был чисто выбрит (этот, последний, рубеж он не сдавал ни при каких обстоятельствах), да еще имел привычку, захмелев, говорить с самим собой по-французски (восемь лет преподавания в Тунисе), за что собутыльники не раз торжественно отводили его в милицию как шпиона.

Они с Санькой чаще других оказывались провожатыми Алексея Степановича. Ведь им не приходилось врать дома, оправдывая поздние возвращения. Тем двоим было наплевать.

Уроки они делали в школьной библиотеке, до темноты шатались по улицам, глаза на освещенные витрины, грелись в чужих подъездах, катались на трамваях и троллейбусах.

– Помнишь говорящий троллейбус? Ты все время хотела ехать именно на нем, и мы околевали на остановке. Садилась, и ты сразу начинала плакать, а я бесилась: неужели мы столько ждали, чтобы пореветь?! За поводом для слез далеко ходить не надо – всегда под рукой!

– Но он так печально говорил: «Я старый, больной троллейбус, помогите мне, купите билет». И всякий раз от этого «помогите» я вспоминала Алексея Степановича и начинала плакать, ведь мы ничем не могли помочь. Только провожать его в черный барак на остановке «Баня», откуда потом так страшно было возвращаться в полной темноте. А он думал, что мы живем где-то поблизости, весь класс.

Алексей Степанович искренне радовался, сталкиваясь с ними у дверей пивной: «О, девочки-сестры из непрожитых лет! Откуда так поздно?» – «С репетиции – от

подруги – из кино», – Санька умела врать без запинки. «Хорошо, что я вас встретил, тоска такая, слово некому сказать!»

Однажды Санька набралась смелости и спросила: «Зачем же вы туда ходите, если там плохо?» – «Среди людей все-таки легче, чем дома одному». – «А давайте мы с вами побудем?» – «Чтоб я пил при детях?! Исключено!» – «Мы, Алексей Степанович, и не такое видели!» – «Не буду прибавлять свой минус к вашему». – «Но ведь минус на минус дает плюс!» – «Не в этом случае. Закроем тему».

И Санька послушно заговорила о чем-то другом. Она говорила, не умолкая, говорила за двоих, а то и за троих, когда Алексей Степанович слишком тосковал, чтобы поддерживать беседу.

«Что же будет, если Санька замолчит? – улыбался он. – Наверное, небо упадет на землю?»

Санька говорила о том, что было и чего не было, порой просто читала вслух объявления и надписи на заборах, пока Алексей Степанович не прерывал этот поток: «Дитя мое, твоя голова не помойка, не подставляй ее под всякий мусор!» – «Тогда положите туда что-нибудь стоящее!» – «С радостью! Вот слушай...»

И он, оживляясь, начинал рассказывать о гениях и безумцах, которых не было в школьной программе. О художнике-математике, рисовавшем уравнения как пейзажи неведомых планет. О музыканте, создавшем симфонию синуса. О дервишах алгебры и подвижниках анализа.

О волновой генетике и научно доказанной возможности телепортации, о теории относительности и черных дырах. О пересечении параллелей и непостоянстве бесконечности.

О поисках истины, более увлекательных, чем любой детектив. О грандиозных провалах и случайных озарениях. Об открытиях, совершенных во сне. Об ошибках, стоивших жизни.

Порой Алексей Степанович так увлекался, что они не понимали ни слова, будто он говорил по-китайски. Но это было неважно. Его путанные, задыхающиеся монологи неизменно вдохновляли жить, читать, двигаться, становиться.

Он непрерывно курил, кашлял, наступал на шнурки, спотыкался, забредал в лужи. Но при этом с таким восторгом смотрел куда-то сквозь привычно убогий мир, будто видел за ним совсем другую, радостную реальность, полную созидания и смысла. И они, захваченные его воодушевлением, тоже начинали верить, что она есть. Хотя ничего не видели.

Эти проводы домой подвыпившего Алексея Степановича дали им больше, чем все школьные уроки, вместе взятые. Жизнь перестала равняться выживанию. В ней появился непредусмотренный сценарием неделимый остаток, неуловимый сквознячок тайны, словно весть с той стороны... Алексей Степанович, конечно, не был ангелом, но кривая его падения пересекла слабый пунктир их судьбы явно не без умысла высших сил.

Он подбирал палочку и самозабвенно чертил в грязи волны синусоид, полные незыблемой гармонии и красоты. Не обращая внимания на усмешки вечерних прохожих, от чьих недобрых глаз они изо всех сил старались его заслонить своими тщедушными замерзшими телами.

«Икс может быть каким угодно! Он ни к чему не привязан!» – восклицал Алексей Степанович, счастливо глядя на них снизу вверх.

А они усваивали совсем другое, куда более важное послание, которое через него передавала им жизнь, желающая во что бы то ни стало наполнить их обесточенные души: «Ты можешь быть. Ты можешь проявиться. Ты можешь».

Но потом приходилось возвращаться. Голодные, с мокрыми ногами и пылающей головой они проскальзывали в прокуренную комнату и тут же гасли, как опущенные в воду лучины, сталкивались с теми двумя, в присутствии которых хотелось одного: развоплотиться, исчезнуть...

– Каким же он был изначально, если после долгих лет самоуничтожения и растраты его хмельная болтовня казалась нам касанием ангельских крыл?

– Или какими нищими были мы, если смогли на годы вперед напиться рассказами пьяного чудака.

– А помнишь: «Всё – чудо, все – чудаки», «Ты не один», как мы писали мелом на стенах вдоль всей его дороги домой?

– Конечно! Даже на дверях пивной – чтоб уж наверняка заметил! Его любимое, что он всегда твердил: «Мир ловил меня, но не поймал...»

– Интересно, успел ли он увидеть?

– Да уж... Никогда не забуду: первый урок математики после каникул. Звонок, в коридоре наступает тишина, и в этой тишине – каблуки. Тяжелый, четкий шаг, как на плацу. И у меня от этого звука все холодеет... хотя, казалось бы, мало ли кто идет. Но нет, дверь с грохотом отлетает в стену, и никто не спотыкается на пороге, и вместо неземного сияния возникает этот крашеный комбат в обтягивающем леопардовом платье и сообщает, что она – новый учитель математики...

Все замерли, только преданный неандерталец Кокшаров пересилил страх и пробубнил: «А Лексей Степаныч куда делся?»

И она сказала, чеканя каждое слово, с явным удовольствием вбивая их, как осиновый кол: «Уволен за пьянство. Больше не придется у пивных дежурить».

Незадолго до этого он где-то забыл кособокого мишку и страшно убивался. Все повторял, что не медведя, а себя потерял. И что «теперь – совсем кранты». Вот они и придумали подбодрить его надписями на стенах. Но было уже поздно. Ничто не могло предотвратить катастрофу.

– Как в тот день мы летели к черному бараку, надеясь успеть. И как злорадствовали соседские старухи, когда мы тщетно стучали в закрытую дверь. И как мы не могли поверить и каждый вечер ходили проверять, не вернулся ли. Хотя куда ему было возвращаться? К кому? К ведьмам этим? Или к двум сопливым девчонкам?

– А я надеялась, что он вернется. Хотя бы попрощается с нами. Он же не мог не знать, что мы его любим. Вот я и ждала. И шила ему нового медведя. Шью, ничего не вижу от слез, иголка в палец, кровь, а остановиться страшно. Только шить или у черного барака мерзнуть.

Она верила, что он придет проститься. И он пришел. Во сне. Алексей Степанович стоял в полной темноте и мелом чертил на этой темноте, будто на доске, привычный крест координат.

«Здесь наши пути расходятся, – говорил он, ставя еле заметную точку на отрицательной оси. – Мне – вниз и налево, по направлению к минус бесконечности. Вам – в другую сторону. Дойдите хотя бы до нуля, девочки-сестры, выберетесь из минуса. На большее я не надеюсь. Ноль – это будет уже огромная удача. Желаю вам нуля».

Вскоре после этого математического сна они увидели свет в окнах Алексея Степановича.

– Заколотили в дверь как безумные, а там – чужие люди. И женщина, которая нам открыла, стала ругаться, что мы ребенка напугали. Малыш и правда ревел на весь дом. И ты вдруг присела и этого мишку, впитавшего твои слезы и кровь, ему протянула...

– Да, в тот вечер, потеряв последнюю надежду, я вдруг поняла, что буду делать дальше. Шить мишек и дарить их плачущим детям. Будто Алексей Степанович на прощание подарил мне смысл. И укрытие... И представляешь, Алеша об этом догадался!

– Какой еще Алеша?

– Ну этот, новый...

Глава четвертая

Лес

Новый Алеша в день их знакомства так и не попал на работу. Они гуляли до сумерек, грелись пустым чаем у него дома, потом долго ехали в трамвае на ее окраину, шли пешком сквозь бесконечные одинаковые дворы – к самой последней многоэтажке, где кончался город и – за небольшим пустырем – начинался лес.

Было уже темно, но она хотела, не откладывая, познакомить его с лесом. То и дело спотыкаясь и куда-то проваливаясь, Алеша покорно побрел следом, испытывая неловкость и волнение, будто сейчас должен состояться ритуал представления родителям.

Дойдя до двух больших берез, стоявших у тропы как часовые, она остановилась:

– Всё пока. Дальше – потом когда-нибудь.

«Ну вот, – загрустил он. – Привела на кромку и испугалась. Хотя чего я хочу, мы же первый день знакомы... Сколько труда и осторожности, сколько внимательности, которой у меня нет, потребуется, чтобы она меня подпустила...»

– Там снег слишком глубокий, – сказала она, будто утешая. – Без лыж никак.

Шло время, они становились все ближе, солнце грело все ярче, сугробы таяли, высыхала непроходимая грязь на просеках, мелели огромные лужи в колеях, и она заводила его все глубже в свой лес, показывала укромные уголки, солнечные опушки, старые пни, молоденькие деревца, которые не просто росли здесь или там, а состояли с ней в таинственных и важных отношениях, и можно было не сомневаться, что, делясь чудесами леса, она дарит ему заповедные пространства своей души, куда еще не ступала ничья нога.

И он принимал ее робкие откровения с благодарностью и даже благоговением, затаив дыхание, чтобы не спугнуть, как бабочку, случайно присевшую на рукав. Выросший в городе, он искренне удивлялся и каплям росы, нанизанным на пружинки мха, и отражению облаков в вогнутых шляпках сыроежек, и кишению

головастиков в мутной воде, и голосам неведомых птиц, и чьим-то следам на земле.

- Если бы я могла подарить лес Алексею Степановичу, - сказала она однажды, задумчиво поддевая палкой березовые сережки, плававшие в крохотном озерце, - то он бы, наверное, исцелился. И не исчез. Но тогда у меня самой еще не было ничего, кроме кособокого медведика.

- Может, там, куда он уехал, есть лес?

- Будем надеяться. Что еще остается, - вздохнула она и на секунду сделалась бесконечно старше своего всегдашнего, трогательно-детского образа.

Как-то раз она показала ему дупло, где живет Хозяин Леса.

- Смотри, он сейчас выглянет, увидит, что еще день, и спрячется обратно, - прошептала она, и глаза ее горели веселым огнем, таким редким, что он чуть не заплакал, вдруг ощутив, какой она могла бы быть.

А она приподнялась на цыпочки и вытащила из дупла одного из своих медведей, покрытого древесной трухой, сухими листьями и прочим лесным сором.

- Солнце высоко, - пробасила она смешным «толстым» голосом. - Пойду спать дальше. А вы гуляйте, только веток не ломайте, на жуков не наступайте, цветы не обрывайте! Поняли?.. Ну, отвечай же!

- Поняли, Хозяин, - послушно произнес он. - Хулиганить не будем. Спи себе с миром!

- До этого он только Петьке с Пашкой показывался, - говорила она, уводя его дальше, в глубину леса. - До сих пор вспоминают. Пашка однажды даже письмо прислал: «Дедушка медведь, приходи к нам в гости, есть конфету и играть в машинку...»

- Пришел?

– А как же! Корзину шишек в подарок принес. Они его чаем поили, вареньем перемазали, потом купали, потом портрет его рисовали. Не хотели отпускать. Но он ушел – сказал, что без леса долго не может... А хочешь, тайну открою? Это уже второй Хозяин Леса. Первый пожил-пожил, а потом исчез. Может, белки утащили, может, сороки. А может быть, сам ушел.

– Сам, наверное. Разве могут белки Хозяина утащить, как простую игрушку.

В лесу все виделось иначе. Будто проходило проверку на подлинность. Он заметил, что здесь трудно говорить о работе, деньгах, политике и прочей суете, которой засорена жизнь. Злые и пустые слова застревают в горле, а если и срываются с губ, то вызывают недоумение и неловкость. Так что хотелось сразу же попросить прощения у деревьев и облаков.

В лесу все вставало на свои места. Неважное наконец становилось неважным, пустой шелухой, которую так легко сбросить с себя. Мелочи, раздутые до размеров слона, скукоживались и делались не больше мухи. Правда, эта муха могла неожиданно укусить. Но от нее можно было и отмахнуться.

Мир на всех парах летел в пропасть. Каждый день он читал хроники Апокалипсиса в новостных лентах – и содрогался от ужаса и собственного бессилия... Но в лесу ничего этого просто не было. А были блики солнца на янтарной сосне, шум ветвей, скрип старых деревьев и вечный муравей, несущий свою травинку.

«Но разве я имею право забывать, что там творится? – сомневался он. – Вот так взять и убежать в лес, как раскольник? Не должен ли я что-то делать? Но я никогда не понимал – ЧТО? А теперь не понимаю и ЗАЧЕМ. Человеческое безумие вечно. Я слишком мал, чтобы пытаться противостоять ему где-то там, на внешних полях сражения. Я могу только отстоять себя. Попытаться выиграть внутреннюю битву, в которой лес – мой союзник. Значит, это не бегство, а моя форма сопротивления».

И все же почти каждую счастливую минуту отравляла мысль о необходимости «что-то делать» там, в большой жизни.

- Я чувствую свою личную ответственность за происходящее, - пытался объяснить он, путаясь под ее недоуменным взглядом. - Я не могу просто уйти в лес и радостно жить тут, с тобой рядом. Хотя мне только этого и хочется. Но я не могу... Вот представляешь, будут у меня дети, они вырастут и осознают, в каком мире живут, и спросят: а где ты был, что делал, почему не помешал? И что я им отвечу? Я в лес ходил?

- А что ты должен ответить, чтобы было правильно?

- Не знаю!

- Твое дело найдет тебя, когда ты будешь готов. Обязательно. А пока можно просто жить. Смотреть, дышать, копить силы, которые потом отдашь кому-то...

- А если нет? Если я просто потеряю время, сидя на пеньке? И не сделаю то, что должен? Знать бы только, что...

- Но ты тут. Значит, так надо. Если бы тебе нужно было оказаться на баррикадах, тебя бы привели туда.

- Но, душа моя, я считаю, что я сам хозяин своей судьбы. Сам решаю, куда идти. Сам иду. И сам отвечаю, если не дошел или ошибся в направлении.

- Бедный! Это же неподъемная ноша - думать, что от тебя все зависит! Но ты правда так считаешь? И у тебя не было повода усомниться? Неужели никогда с тобой не случилось чего-то незапланированного? Хорошего или плохого? Когда ты предполагал, что будет - так, а выходило совершенно иначе? Или вообще ничего не ждал - и вдруг...

- Вдруг кто-то останавливается у меня под окнами и начинает плакать от музыки...

- Вот видишь! Ведь нас с тобой явно привели друг к другу!

- Да-да. Как говорил один атеист, не знаю, кого благодарить, но я благодарен.

- И с делом так же будет. Ведь даже ко мне оно пришло.

- Твое дело? Шить и дарить медведей?

- Да, маленькое и смешное, но оно меня наполняет. И оно мне по силам. Я знаю, это капля в море. Ну и что теперь – не давать эту каплю, потому что она мала? Потому что другие могут больше? Кто-то стакан, а кто-то – целую бочку... Но я же не виновата! Мы можем дать лишь столько, сколько нам самим когда-то дали... Да и для моря что капля, что бочка все равно.

- Да, возможно, я слишком преувеличиваю свою значимость, воображая, будто могу что-то изменить. Конечно же не могу! Мир останется прежним. Значит, можно расслабиться и созерцать травинки? Что скажешь, лесной житель? Можно?

- Ну, попробуйся.

Он смеялся, обнимал ее за плечи и позволял уводить себя все дальше в лес, испытывая легкость и полную безнадежность, от которой вдруг вырастают крылья.

- А что мне остается? Только поверить тебе. Бросить свой неподъемный багаж – и обрести свободу. Видимо, жизнь загоняет в угол, чтоб научить летать.

И деревья росли, никуда не спешили, являя собой всю отведенную им красоту, и он смотрел на их вершины, плывущие в облаках, и учился жить медленно и мудро. Учился верить, что именно этих несуетных прогулок в пригородном лесу и ждет от него жизнь. По крайней мере, сейчас.

Глава пятая

Санька

Санька к их лесным походам относилась снисходительно. Созерцание, молчание – это было не для нее. Она любила шумные компании, многолюдные

улицы, большие магазины.

На природе ей почти сразу становилось скучно, и она начинала придумывать себе разные дела: заняться йогой на полянке, собрать мусор, накиданный вдоль тропы, связать из травы кукол и разыграть спектакль для детей...

Санька мгновенно заполняла собой не только любое пространство, что помогало одомашнивать бесконечные съемные квартиры, но и каждого человека, попадавшего в ее орбиту, что несказанно мешало личной жизни.

Ее всегда было слишком много, так что хотелось попросить: нельзя ли чуть-чуть поменьше, потише и, желательно, подальше от меня?

Но за Санькиной экспансивностью скрывалось отчаяние, а ее зашкаливающая жизненная энергия была, увы, не полноценным проживанием жизни, а упрямой живучестью брошенного в воду котенка.

Она ежеминутно отвоевывала себя у небытия, утверждала свое существование, в котором постоянно сомневалась, боролась за присутствие в мире.

– В детстве Санька была моей жизнью. Она жила во мне, жила для меня, жила за меня. Я очень долго не отделяла себя от нее. Мы всегда были вместе, как сиамские близнецы. Она меня не оставляла ни на минуту, понимая, что одна я просто не выживу. Она и в школу пошла на год позже, а меня привела на год раньше, чтобы мы оказались в одном классе.

«Мы обязательно должны выжить, – внушала она мне. – Мы не должны попасть в детдом, умереть от голода, загнуться от тоски, мы должны вырасти и состояться во что бы то ни стало».

У меня часто бывали приступы апатии. И Санька неустанно расталкивала, встряхивала, вдувала в меня жизнь.

А еще она хотела, чтобы мы не просто выжили, но стали лучшими, чтобы что-то им доказать. Только когда я выросла, я освободилась от этого – и мне несказанно полегчало.

Я вдруг поняла, что могу выплыть сама, что незачем гнаться за Санькой, а ей больше не надо меня тащить на буксире, хотя она до сих пор по привычке тащит.

Она всегда говорила: «Барахтайся!» А у меня другой способ держаться на плаву – довериться течению.

Этому я научилась у леса.

Саньку невозможно было не полюбить. Но находиться с ней рядом означало исчезнуть самому, и инстинкт самосохранения отбрасывал от нее каждого, кто подходил близко.

Удержаться рядом с Санькой могли только совершенно «никакие» персонажи, безболезненно подставлявшие свою пустоту под ее извержения и наводнения. Но она слишком яростно хотела быть живой, чтобы терпеть такое мертвящее соседство.

«Общаться надо только с теми, кто восхищает и вдохновляет, – считала она и продолжала очаровываться, разочаровываться, разбиваться вдребезги и восставать из пепла. – Мне не привыкать, я уже могу собрать себя за три минуты, как солдат винтовку».

* * *

По части собирания себя Санька действительно была профессионалом. В дело шло все: психотерапия, медитация, молитва, гипноз, осознанное дыхание, утренние страницы...

Казалось, Санька задалась целью освоить все практики самопознания и самосозидания, изобретенные человечеством. Но это был не спорт и не перфекционизм, как считали окружающие, а жестокая необходимость. Едва она переставала «барахтаться», как пропасть, жившая внутри нее, тут же разевала смрадную пасть, готовясь одним махом заглотить все.

«Нет! – кричала ей Санька. – Не дождетесь! Я есть! Я живая! И я буду жить! Жить!»

А жить означало любить. То есть оставаться открытой. Как рана. Не заживать. Тогда как пропасть непрерывно твердила: «Нет, это слишком больно, слишком опасно, закройся, запишись, умри...»

Пропасть шипела, нашептывала, шепелявила, будто шуршала серая оберточная бумага или жужжала обреченная муха, копошась в старой вате между оконных рам.

Санька ненавидела этот голос. Но жить означало любить. В том числе и свою пропасть. Это была задача на будущее, а пока Санька, содрогаясь от отвращения, опасно изучала ее края, постепенно привыкая смотреть в лицо бездне.

«Внимание – это зачаток любви. Внимание – это свет сознания», – повторяла она, когда становилось слишком страшно.

Луч внимания, направленный в область мрака, был, разумеется, слишком слаб, чтобы осветить ее всю, но благодаря его присутствию качество тьмы незаметно менялось. И омерзение сменялось жалостью, по мере того как Санька продвигалась вглубь.

Эта чернота была болью, этот разверстый зев – зияющей раной. То есть жизнью. Искалеченной, исковерканной, вывернутой наизнанку, но все-таки жизнью. А не наоборот.

«Исцелиться – значит стать целой. Принять себя целиком. Вместе с чернотой. Только так я смогу впустить туда любовь и изгнать мрак, – корябала Санька в своем „терапевтическом“ блокноте, зажатая между мерно сопящими Петькой и Пашкой, до пробуждения которых оставалось полчаса. – Это будет обычный день осознанности и выживания. День, когда я не дам себе опуститься на дно, не поддамся желанию исчезнуть. Не стану теткой. День, когда я буду живой. День любви, ее постоянных маленьких явлений. Не забыть улыбнуться. Не ругать, не выходить из себя, не говорить гадости. ВСЕГДА ВИДЕТЬ ИХ! Не отлучать от себя, не рвать связь, обнимать и принимать. Быть радостной и легкой... Я справлюсь, я проживу этот день... И когда-нибудь обязательно поеду к морю. Решусь быть

счастливой...»

Яростнее всего Санька, лишенная собственного детства, боролась за чужое. Это был ее идефикс, главная точка приложения ее богатырской силы.

Своими руками, из ничего, она создала детский мир сестры, заслонив собой от пропасти, которая зияла на месте родителей.

А теперь непрерывно творила детство собственных детей, заполняя, подпирая, выпрямляя и сглаживая.

У Петьки и Пашки не было отцов – Санька выдумывала им супергероев; не было дома – Санька делала уютной даже лавочку в парке, где им порой приходилось ночевать; не было игрушек – Санька учила их играть с любой палочкой. Она превращала трудности в приключения, нехватку – в возможность, пустоту – в свободу.

– У тебя нет машинки, как у мальчика? Отлично! Зато у тебя есть фантазия – ты можешь сделать машинку из чего угодно! Его машинка сломается, потеряется, наскучит, а с твоей этого не случится никогда!

У Саньки было несколько разноцветных палантинов, купленных за копейки у странствующих индусов. С помощью этих незатейливых кусков ткани она преображала и себя, и окружающее пространство. Занавесить голые окна, спрятать ободранный стол, сделать домик из стульев, укрыть уснувшего ребенка от чужих взглядов, превратить матрац в ложе падишаха, а единственные джинсы – в богемный наряд...

– Хорошо, что у нас ничего нет. Мы все можем сделать сами. Так, как хотим. Мы свободны. У нас на самом деле все есть. У богатых – только богатство, а у нас – весь мир.

По всем законам жизни Санька, выросшая без родительской любви, должна была стать совершенно иной. И этот ее «законный» образ всегда был наготове, как ближайшая и самая естественная реакция на все. Усилием воли Санька

вытесняла его в тень, выводила злобно и методично, «будто солдат – вшей», но стоило ей на секунду потерять бдительность, как тьма выпускала щупальца и мазала слизью небытия все самое дорогое: детей, любимых, способность преображать реальность...

В такие минуты Санька хотела лишь одного: лечь и умереть – и, отбиваясь от всего, что вставало на пути этого «желания», ругалась, пинала стены, орала на Петьку с Пашкой, била посуду...

А потом еще неделю щедро кормила свое небытие беспросветным чувством вины, которое лишало сил и требовало того же: лечь и умереть.

Санька яростно сражалась за себя и училась принимать поражения как этап борьбы, но часто отчаивалась, сдавалась и ставила на себе крест.

«Ты – чудовище, – нашептывала ей пропасть. – Ошибка. Тебя не должно быть. Исчезни, уйди, не порти никому жизнь, от тебя только несчастья».

Одно время Санька, пытаясь найти источник пополнения иссякающих сил, подалась в религию, но от этого ей стало еще хуже. Чувство вины выросло в геометрической прогрессии, а арсенал пропасти пополнился образом ада, что поставило Саньку на порог безумия. Она прекратила религиозную практику и больше к ней не возвращалась.

Санька всеми способами пыталась простить тех двоих, что наградили ее таким наследством. Простить, отпустить, перестать тратить жизнь на одностороннее выяснение отношений. Да и что тут выяснять, если и отношений этих никогда не было. Было зияние.

– Я прощала по Нагорной проповеди, прощала по Лууле Виилме, прощала по Луизе Хей, прощала по Свяшу. Я исписывала тонны блокнотов своей ненавистью, а после сжигала их на масленичном костре. Выкидывала в реку любимые кольца, чтобы вместе с ними утонуло непрощенное. Ходила к шаманам, ламам, гипнотизерам, драгдилерам, монахам, психотерапевтам... Но я до сих пор не могу выговорить слово «родители» и вздрагиваю, когда мои собственные дети называют меня мамой...

Материнство было главным Санькиным вызовом и подвигом. Тут, разумеется, пропасть вмешивалась в ее жизнь самым настойчивым образом, предлагая не услышать детский плач, отмахнуться, огрызнуться, посмотреть безразличными глазами.

Саньке приходилось биться за каждый ласковый взгляд, вытапливать из своей ледяной пустыни нежные словечки, которые у других сами льются с языка, выжимать из себя бодрость и радость, когда хочется упасть лицом вниз и никогда не вставать.

– Как я завидую тем, кому все дано изначально. Просто потому, что их детство было наполнено любовью и теперь они, не задумываясь и особо не утруждаясь, переливают эту живую воду в следующий сосуд, – говорила Санька, не замечая, что благодаря ежеминутным усилиям преуспела в непростом труде материнства больше многих благополучных.

Сама она, конечно, считала иначе. Не признавать свои успехи и таланты, не ценить себя, пренебрегать, видеть только плохое – это было для нее в порядке вещей.

Санька упорно отказывалась считать свою одаренность чем-то заслуживающим внимания и заботы. Она рисовала непрерывно: на снегу, на асфальте, на детских ладошках, на манной каше, на запотевших стеклах... Но купить альбом, а главное, выделить хотя бы час на то, что она любила больше всего на свете, этого Санька не могла себе позволить, все время придумывая более важные дела. И дела конечно же не заставляли долго ждать: заваливали с головой, не давая передышки.

Но если речь шла о зарабатывании денег, которых никогда не было, Санька эксплуатировала свой дар нещадно, на самых черных, прикладных работах вроде рисования пивных этикеток, оформления витрин супермаркета или создания логотипа какой-нибудь захудалой конторы.

Проклиная «беспонтовые шабашки», она выкладывалась в них по полной – больше-то было негде, – и вот за пыльными стеклами рядового гастронома в спальном районе вдруг взрывались оглушительными красками ее натюрморты. И

окрестные дети убегали с уроков поглазеть на сказочный мир, ворвавшийся в серую реальность.

А реальность в лице озлобленных алкашей и бдительных бабок конечно же брала свое: била витрины, писала жалобы и за шиворот отводила беглецов обратно в общеобразовательный ад.

Но чаще всего проекты зарубались на стадии эскизов самим заказчиком, желавшим «чего-нибудь попроще».

Иногда выпадали Саньке и хорошие заказы: оформить кафе в театральном институте, создать костюмы к перформансу, нарисовать афишу фестиваля уличных театров. Но Санька с ее неверием в себя так изводилась в процессе работы, что жизнь, не желая доставлять ей лишних страданий, переставала стучаться в эту дверь.

Санька не позволила себе получить художественное образование, заменив его никому не нужным рекламным, что дало ей повод шарахаться от любых интересных предложений, оправдываясь «непрофессионализмом».

Рисуя, она всегда чувствовала себя самозванцем и боялась разоблачения. Ей казалось, что некие «настоящие художники», увидев ее работу, скривятся и скажут: «Фи, милочка, куда ты со свиным рылом? Малюй дальше свои пивные банки и не высовывайся!»

«Ты – бездарность, – твердила пропасть. – Тебе нечего дать людям. Ты пуста. Ты черна. Тебя просто нет».

Они познакомились с Санькой в тот же бесконечный предвесенний день, когда он стал Алешей, купил Луи Буссенара за пять тысяч и подарил своей любимой пластмассовое колечко с датой выпечки хлеба.

– Ты ее сразу узнаешь, – сказала любимая.

И он ее сразу узнал. Среди серых стен, под серым небом, в черно-коричневой людской толпе вдруг полыхнула оранжевая юбка, взрыли снежную кашу желтые

ботинки с тракторной подошвой. И Санька, обмотанная слингом, обвешенная детьми, с хмурым Петькой за спиной и радостным Пашкой на груди, сияя янтарными глазами и огненной челкой, смеясь и что-то уже рассказывая, предстала перед ними и тут же заполнила собой весь мир.

И он вспомнил (и потом всегда вспоминал, видя Саньку): «Она пришла с мороза, раскрасневшаяся... и сейчас же стало казаться, что в моей большой комнате очень мало места...»

Глава шестая

Ангелы

– Когда мы были маленькими, Санька рассказала мне про добрых ангелов. Она о них узнала, кажется, от нянечки, которая ходила в церковь. И я до сих пор в них верю, не смеясь. Если их нет, кто же нам помогал все это время? Кто нас приводил и до сих пор приводит туда, где мы должны оказаться, как раз в ту самую минуту, когда нам туда надо попасть, если сами мы просто идем по улице и знать не знаем, что сейчас произойдет. Как тогда, когда я плакала от музыки, а ты выбежал и меня поймал...

Постепенно он принял ее язык описания реальности, ему было в общем-то все равно, как это называть: «ангелы», или «синхрония», или «циркуляция информационных потоков». В мире определенно действовали какие-то силы, и если она хотела, чтобы это были непременно ангелы, то ему не стоило труда согласиться.

– Я помню первый раз, когда ангелы нам помогли. Они, конечно, помогали и раньше, но этот случай будто открыл мне глаза. Мы сидели дома одни. Так часто бывало, почти каждый вечер. Но тут и соседей не было. Непривычно тихий коридор, и в темноте белеют запертые двери. А наша – чернеет, как чья-то пасть, она открыта. Я сижу на полу и тихо плачу от голода. Санька нашла на кухне пакет гречки. Но не может зажечь огонь: спички отсырели. Она стоит на табуретке у плиты, чиркает, чиркает – а они только ломаются.

И когда оставалась последняя спичка, Санька запрокинула голову и отчаянно закричала в потолок: «Добрые ангелы! Ну, помогите же! Неужели не видите? Нужно накормить ребенка!»

И спичка зажглась. Как в сказке. Первое чудо в моей жизни...

Я долго думала, что только Санька может их просить. Но однажды она заболела, соседи стали говорить про больницу. Я страшно испугалась, что останусь одна. Санька обняла меня слабыми руками и шепнула: «Не бойся, добрые ангелы о тебе позаботятся».

Дыхание у нее было горячее, как воздух из открытой духовки.

Я вышла в коридор и тихонько, ужасно стесняясь, сказала: «Добрые ангелы, пожалуйста, чтобы нам не разлучаться...» Потом вернулась и легла к Саньке на матрац. Мне стало тепло от нее, потом жарко, еще жарче... И когда приехала «скорая», у нас обеих была температура под сорок, и в больницу мы попали вместе!

Сейчас, когда вопрос выживания уже не стоял настолько остро, ангелы занимались другими – приятными и необязательными – делами. Подсказывали, какого шить медведя, подкладывали на дороге голубую бусину, если ей не хватало именно голубой бусины, делали так, что в магазине всегда оказывалась шерсть нужного оттенка, причем зачастую – единственный моток.

Каждый день ангелы творили десятки мелких, смешных, почти незаметных чудес, которые она всегда замечала – и радовалась.

Главным же делом ангелов было привести ее к ребенку, которому плохо. Это случалось всегда неожиданно-негаданно, но именно в тот момент, когда очередной медведь занимал свое место в кармане потертого рюкзака. Ни разу она не оказывалась перед плачущим малышом с пустыми руками. Правда, для этого приходилось шить, не переставая, не отвлекаясь ни на что, как Элиза из ее любимой сказки.

* * *

Она работала в газетном киоске, и свободного времени всегда хватало, поскольку газеты мало кто покупал. Несмотря на это, работу свою она не любила. Но слишком робела перед жизнью, чтобы решиться на перемены.

Они с Санькой устроились в киоск давным-давно, еще в одиннадцатом классе. И тогда это было настоящим спасением. Причем не только от голода. Киоск, где помещались лишь табуретка и обогреватель, стал их крошечным домом, маленьким личным пространством, куда можно было вернуться после школы, спокойно съесть свой сырок с изюмом, сделать уроки, положив на колени тетрадь, помечтать, почитать книжку...

Потом смелая Санька ушла в большое плавание, где был какой-никакой, а все-таки университет, общага, студенческие гулянки, непрерывные влюбленности, по несколько одновременно, подвальные выставки, квартирники, курсовые...

Это был поворотный момент их жизни. Момент, когда Санька ослабила хватку, выпустила сестру из рук. И та сразу села на мель и осталась там, где была, на многие годы. Газетный киоск на конечной трамвая, прогулки в лесу и шитье медведей. И тихое ожидание того, кто снова возьмет за руку и сдвинет с мертвой точки.

Алеша думал сначала, что работа в киоске угнетает ее монотонностью. Оказалось, дело было совсем в другом.

- Довольно долго мне все нравилось. Но потом я стала задумываться: а что я делаю? Ну, в широком смысле: что я несу в мир? Как раз в это время исчезли все приличные газеты, остались только всякие сплетни. И мне стало стыдно стоять на раздаче грязи. Но уйти не могу. Боюсь. Да и куда меня возьмут без высшего образования?

- А если тебе устроиться в твой любимый магазинчик, где пуговицы и ленты?

- Да, это было бы счастье, но...

На следующее утро Алеша так глубоко задумался, прислонившись к гремящему трамвайному стеклу, что проехал свою остановку. И опять не пошел в офис. Уже

почти без угрызений совести. Он гулял по городу, пил кофе на оттаявших скамейках, кормил воробьев, смотрел, как сереет и набухает лед на реке, улыбался серьезным детям с лопатками...

Что-то важное рождалось внутри от соприкосновения с ее неподвижным, тихим миром, и он вслушивался в себя с удивлением и надеждой, еще не имея слов, чтобы назвать и осознать то новое и несомненно живое, что неспешно прорастало сквозь онемение и пустоту.

Это хрупкое состояние, похожее на хокку, невесомое, как игра светотени, совершенно не подходило для сидения в душном пластиковом аду, где он привык проводить дневное время. Мягко, но непреклонно оно вело туда, не знаю куда, обещая взамен всей прежней жизни то, не знаю что.

«Неужели это я? Тот унылый неудачник, презиравший самого себя? Неужели я все-таки решился и сделал шаг в сторону, сошел с накатанной колеи? Или это ангелы толкают меня в спину, как увязший в грязи автомобиль? Как смешно и банально все начинается: уйти с работы, перестать делать то, что никому не нужно. Выбросить мертвое, освободить место для живого. Для того дела, которое должно меня найти...»

Он никуда не торопился, ничего не боялся, ни на кого не оглядывался, неожиданно обнаружив в себе огромные области солнечного света. Он отогревался, оживал и наполнялся силой, испытывая так долго не дававшееся ему счастье.

Просто жить, дышать, слышать и видеть. Сидеть на скамейке и смеяться, подставив лицо ветру. Быть заодно с ручьями, деревьями, воробьями, младенцами в колясках, котами на подоконниках, облаками в вышине...

Он закрывал глаза и прикасался к своему свету:

- Ты здесь? Ты все еще здесь? Ты больше меня не покинешь?

И свет тут же откликнулся, бросался навстречу, заливал с головой, поднимал и нес куда-то. Главное было - не мешать.

И он не мешал. Доверялся. Это было так просто. Но почему-то стало возможно только теперь.

– Я думал сначала, что это – о тебе. Но оказывается, это – обо мне. Как бы объяснить...

– Я понимаю.

– Да, обо мне. Но и о тебе тоже. И обо всех, кого я знаю и не знаю...

– И об ангелах.

– Наверное, дружок, тебе видней...

Однажды во время своих блужданий по городу он встретил Саньку, бежавшую с одной работы на другую.

– Эх, завидую вам, влюбленным балбесам, – сказала она, глядя ему в глаза с какой-то даже злостью. – Как бы я хотела вот так же на все забить, шататься по улицам, считать ворон в скверах... И не вскакивать по ночам в ужасе, чем я буду завтра кормить детей...

– Понимаешь, – попытался объяснить он, – ты думаешь, это потому, что я влюбился в твою сестру. Но на самом деле...

– На самом деле ты влюбился в меня? – невесело засмеялась Санька. – Расслабься. Шутка. Я ни на что не претендую. Просто ужасно завидую, правда. Мне кажется, в моей жизни уже никогда ничего такого не случится...

– А ты попроси ангелов, – неожиданно предложил он.

– Ангелов? Они меня уже давно не слышат.

– Может быть, ты давно не просишь?

– Может быть... Может быть...

И Санька ушла, чуть медленнее, чем раньше, задумчиво попинывая блестящую на солнце льдышку. А он, ведомый своим странным вдохновением, заглянул в швейный магазинчик, еще не зная, что будет здесь делать, на ходу придумывая купить для любимой горсть бубенцов или смешных пуговиц. И легко разговорился с пожилой женщиной, скучавшей за прилавком.

Он был так переполнен, что ему все время хотелось общаться, вступить в отношения с каждым случайно встреченным человеком, ведь ничего случайного не бывает, и люди, соприкасаясь даже на секунду, что-то друг другу дают, сами того не ведая.

Жизнь непрерывно говорит с нами о самом главном: устами знакомых и незнакомых, обрывками песен из проезжающих автомобилей, событиями – большими и микроскопическими, – книгами, фильмами, тряпочными медведями, взглядами идущих мимо людей...

Он открыл это совсем недавно и теперь с жадностью неопита бросался навстречу всему, спеша понять, что именно хочет сказать ему жизнь. Понять и ответить.

– Устала я, – жаловалась пожилая продавщица, – давно хочу уйти, а хозяйка не отпускает, просит подождать, пока кого-нибудь мне на смену найдет, да что-то пока никто не находится...

– Я вам завтра же приведу!

– Да что ты!

И на следующее утро он встретил ее у подъезда, взял за руку и повел:

– Хочу проводить тебя до работы.

– Так это в двух шагах, не стоило в такую рань... Куда ты? Мне же сюда!

– Нет, милая, сюда тебе больше не надо.

– Вот везет же людям! – сказала вечером Санька, узнав о том, что газетный киоск остался в прошлом. – Я тоже хочу, чтобы меня кто-нибудь взял за руку и увел подальше от моей жизни! Мне все здесь не нравится, абсолютно все!

– А куда бы ты хотела?

– Ах, отстань от меня с этими вопросами из тренингов! Чего ты хочешь, о чем мечтаешь, составь список ста желаний, положи под кровать и жди, что сбудется... Это все для тех, у кого есть мужья, родители, какая-то опора в жизни. А не для того, кто в одиночку с двумя детьми, без дома, без денег... Если я позволю себе сесть и помечтать, я буду реветь неделю, а в это время все умрут с голоду.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию (http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=22968787&lfrom=201227127) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Купить: <https://tn.knigapoisk.com/natalya-klyucharyova/schaste-kupit>

надано

Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: [Купити](#)